



# Иероним Иеронимович Ясинский

## **Н. С. Лесков**

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — русский писатель, журналист, поэт, литературный критик, переводчик, драматург, издатель и мемуарист.

# Н. С. Лесков

**Н**иколай Семенович Лесков — писатель очень крупного масштаба и своеобразного лица.

Когда я первый раз вошел в литературный кружок Василия Степановича Курочкина в 1870 году, имя Лескова, писавшего под псевдонимом Стебницкого, было у всех на языке. О нем говорили с презрением и отвращением и даже уверяли, что он служит агентом в Третьем отделении, то есть что он шпион.

Началось это гонение на Лескова в период пожарной эпидемии, которая в 1861–1862 годах прокатилась по всей России, а в Петербурге разразилась знаменитым пожаром Апраксина двора. Тогда чернь успели убедить, что поджигают студенты. Такое обвинение являлось результатом негодования правительства на либеральные течения, вдруг развившиеся в русской интеллигенции и начавшие проникать в мещанские и рабоче-крестьянские круги.

Студентов сделали предметом общественной ненависти с провокационной целью, что-

бы показать, куда может повести "необузданная" свобода. Пусть правительство ослабит только вожжи, как начнут гореть города, а мужики, воодушевляемые студентами, пойдут с топорами в руках и с горящими пучками соломы громить и жечь дворянские усадьбы.

Лесков, у которого душа была отроду злая и подозрительная, решил, как он мне объяснил потом, раскопать, откуда идет такое обвинение, вскрыть нарыв тонким дипломатическим скальпелем и потребовал в газете "Северная почта" — полуофициальном органе правительства, чтобы участие студентов в поджоге было возможно беспристрастнее расследовано. Такое требование, однако, было приравнено к действительному обвинению студентов в поджоге Апраксина двора. Строго говоря, у Лескова не было такого намерения, но он уж очень перемудрил, перехитрил. Под видом беспристрастия, под видом непоколебимой веры в честность полиции, желая накрыть ее собственным ее хвостом, он впал в тон доносителя, может быть, неожиданно для самого себя. Перо водило по бумаге, а он пред-

ставлял себе градоначальника, который стоит перед ним, и он ему докладывает:

— Надо же в самом деле быть осмотрительнее в своих подозрениях и только тогда дозволить публике говорить об этом в положительном смысле, когда действительно окажется обвинение правдоподобным, основанным на каких-нибудь фактах!

— Слушаю-с! — говорит градоначальник.

Когда письмо появилось в газете, все отшатнулись от Лескова, и легенда о его службе в Третьем отделении с быстротой молнии распространилась и держалась на протяжении многих лет.

В 1878 году князь Урусов, известный адвокат и знаток и любитель литературы, высланный одно время из Петербурга за участие в Нечаевском процессе, не верил доносу Лескова или его службе в охранке, но, приглашая меня к себе на вечер, предупредил, что он заранее желает знать, как я отношусь к Лескову, потому что, если я отношусь к Лескову недоброжелательно, он его к себе не пригласит, хотя и считает его писателем, достойным уважения, уверил его, что ничего не

имею против Лескова, но другие гости Урусова, как Арсеньев, Стасюлевич и Утин, не согласились встретиться с автором письма о поджогах и таких романов, как "Некуда" и "На ножах".

Кстати об этих романах. Такие критики, как Скабичевский, работавший в радикальных органах, и другие, помнившие хорошо, что представляло собой литературное общество в шестидесятых годах, говорили мне, что на самом деле в этих романах фактически все верно: жили коммунарами на одной квартире люди обоего пола и нередко состояли в "коммунальном" браке. Тут они называли мне имена очень видных писателей, но гневались на Лескова за его тон. Он над всем этим издевался со своей "изуверской усмешечкой" и частным случаям придавал в своих повествованиях и описаниях общий характер.

Действительно, когда перечитываешь "Некуда" и "На ножах", приходишь в трепет от неистовой злобности, с какой романист выдвигает своих действующих лиц и заставляет читателя отступать перед их нутром, вывернутым наружу беспощадным ножом сочи-

нителя. Все у него на ножах, а он сам еще, как мясник, орудует ножом над ними; тем не менее ужасающее по силе черных красок дарование Лескова не может быть опровергнуто. Он писатель единственный в своем роде.

Тут интересно сопоставить Достоевского и Лескова, которые, надо заметить, были именно сами на ножах друг с другом. Достоевский также не щадил человека, въедаясь в его сердцевину и показывая, до чего он жалок, низок, несвободен и гнусен, но было в его мрачном творчестве что-то человеческое, гуманное, от чего читатель проникается не отвращением, а прощением; гнуснейший Федор Павлович Карамазов, и тот внушает какое-то чувство, похожее на сострадание, как жаба, которую идешь, наступишь на нее, она раздуется, зашипит, и все-таки раздавишь и как бы пожалеешь, потому что живая тварь. Таким образом, Федор Карамазов у Достоевского все-таки — живая тварь. А у Лескова (Стебницкого) люди, по роду своей деятельности, в сущности, хорошие и даже особенно хорошие, представлены в обличье негодяев, мерзавцев и отталкивающих, как мокрицы и клопы, эс-

тетическое чувство читателя до болезненной отвратности. Какой-нибудь Федор Павлович Карамазов, читая "Некуда" или "На ножах", должен почувствовать радость за себя: вот они какие, хорошие люди, вот они, писатели, вот они, либералы, какие; нет, если я мерзавец, так, по крайней мере, я сознаю себя и не выдаю себя за ангела.

Правда, у Лескова в других его произведениях сквозит уже темперамент не столько сатирика, сколько юмориста и превосходного бытописателя, но и в выборе его персонажей, как, например, в "Соборянах", угадывается опять-таки писатель с определенными симпатиями и тенденциями. Во всяком случае лучшей его вещью надо считать "Соборян".

В конце концов он, проведя почти всю жизнь в литературном уединении, подпал под влияние Толстого, съездил к нему, умилялся образом жизни великого человека и с благоговением рассказывал, возвратясь из Ясной Поляны, как Лев Николаевич сам, не затрудняя прислугу, выносит утром из своей спальни посуду с ручкой, как он борется с курением: хочет — и не курит, и с мясоедением:



подойдет ночью к буфету, где стоят котлеты, посмотрит и назад возвращается; сапоги тащит и печки крестьянкам складывает.

Познакомил и свел меня с Лесковым Виктор Бибилов. Бибилов был молодой человек из тех писателей, которые не оставляют следа в литературе, но которые, однако, являются более или менее соединительной тканью в ней. Они играют роль посредников между ее главнейшими органами. Как без Бибилова можно было бы соединить не только Лескова и меня, но Лескова и Арсеньева, этого белоснежного чистоплюя либерализма, писавшего в "Вестнике Европы" и державшего в нем первую скрипку с необычайной моральной сухостью и строгостью?

Лесков, которого я увидел первый раз, был уже пятидесятилетним стариком, приземистым, широкоплечим, с короткой шеей, с большой седой головой, с немногочисленными на черепе волосами и с чрезвычайно живыми темными и казавшимися черными яркими глазами. На нем была цветная блуза. Он подошел ко мне и крепко меня обнял, прижавшись щекой к моей груди.

— Чудесно бьется у вас сердце, хорошее у вас сердце, — тоном искренним, но, однако, льстивым начал Лесков.

С места в карьер он стал ругать Суворина, которому не мог забыть выходок против Стебницкого в "Петербургских ведомостях" в шестидесятых годах.

— Благословляю час, — продолжал Лесков, — когда Бибиков надоумил вас посетить мое собрание редкостей, так как действительно они стоят того, чтобы на них посмотреть. У меня есть величайшие раритеты. Вы собирались посмотреть на "Богоматерь" Боровиковского — вот она, матушка. Я и лампадку перед ней теплю. Удивительный лик, я бы не променял его на лик мурильевской "Богоматери"; русский лик и отчасти как бы украинский. А это я купил где-то на рынке, Строфокомил — птица мистическая...

Он стал водить меня по своему кабинету и говорил, как много общего между нашими вкусами:

— У вас тоже, я слышал, есть недурная коллекция картин. Люблю картинку, но преимущественно образа люблю древнего письма —

строгановского, поморского, заонежского. Кресты и складни поморские обожаю. Книги имею, древние индиклы, и обрел недавно "Путешествие Гогары" в редком списке, отличающемся от Сахаровского списка.

Я сказал, что я тоже счастлив во вчерашней своей охоте на книжном рынке. Нашел у букиниста книжечку духовного содержания, но еще не прочитал ее; составлена самим Николаем Семеновичем и с рукописным посвящением Победоносцеву.

Лесков закрыл лицо руками.

— Да, приходится преподносить и Победоносцевым! — горестным баском проговорил он. — Приходится, ибо, надо заметить, когда все решительно покинули меня и я остался, как рак на мели, кто протянул мне руку помощи, как не Победоносцев? Он, конечно, не принадлежит к фигурам симпатичным, но у меня есть то, что называется чувством благодарности. Я в Синоде служил и еще ныне состою, хотя уже и не хожу на службу из-за "Мелочей архиерейской жизни", — с едким смешком прибавил он, — рассердились на меня иерархи, нигде мне спокойствия нет. Ох, гре-

хи мои тяжкие!

У Лескова Бибииков дневал и ночевал. Он знал всю его подноготную, подглядел какие-то его отношения с курсистками и развонил по городу. Мы узнали, что у Лескова есть приемная дочка, что известный в то время народник и социолог Фаресов — его большой друг и поклонник, что он живет под приютом, начальница которого также его приятельница, что у него водятся деньги и что он покупает драгоценные камни и преимущественно архиерейские панагии, то есть иконки вроде камей, резанные на изумруде, аметисте, карбункуле и прочих твердых камнях.

Лесков, повернувшись лицом к толстовскому фронту, стал переделывать прологи и обрабатывать их в легендарные рассказы. Несколько таких рассказов он напечатал в "Вестнике Европы" при посредничестве Бибиикова. Рассказы эти блещут, конечно, большими достоинствами, каким-то мистическим вдохновением и отличаются сладострастием или, вернее, сластобесием, одним словом, на моих глазах Лесков добился реабилитации своей как писатель и ему дана была полная

амнистия либеральными кругами.

Он стал "ересиархом", как он сам себя в шутку называл, то есть сделался учителем нравственности. Курсистки приходили к нему за разрешением своих сердечных сомнений. Он поучал их вере, указывал пути, по которым надо следовать к царствию Божию, причем под царствием разумел хорошую, светлую и честную жизнь на земле, но, впрочем, не без воздаяния за гробом.

Наконец, он решил "в сердце своем" вразумить меня и специально с этой целью стал посещать меня на квартире. Увидевши у меня красивую молодую женщину, у которой был "византийский лик", Лесков, улыбаясь и откинув назад свою большую голову, отвел меня в другую комнату и молча покачал головой:

— Кто она вам?

— Она моя жена.

— Вот как? Та самая, о которой говорил мне Бибииков, и не жила с вами несколько лет?

— Да, не жила со мной несколько лет. А что, Николай Семенович, в чем дело?

— И ныне вернулась?

— Да, вернулась неделю тому назад.

— И вы с нею сошлись?

— Нет, она поселилась на отдельной от меня квартире с детьми.

— Для чего вы это сделали?

— Я бываю у нее ради детей, а она привезла ко мне сына сегодня.

— Но, значит, она разошлась с тем, с кем, как мне сообщал Бибииков, сходилась?

— Да, она разошлась с тем.

— Пока мне больше ничего не надо знать, — со вздохом сказал Лесков.

По правде, мне захотелось, чтобы он скорее ушел от меня.

— Да, — сказал я, — мне вам нечего больше сказать.

— Но в качестве вашего старого друга я бы желал поговорить с вами обоими, — продолжал Лесков, — и просил бы вас пожаловать ко мне с вашей супругой.

— Но зачем же?

— Единственно для счастья вашего и вашей супруги, — окинув меня всего глубоким и ярким взглядом, произнес Лесков и стал прощаться.

Мария Николаевна между тем уже оделась и вышла на лестницу.

— Вы таки большой ересиарх, — сказал я Лескову, провожая его.

— Я обязан вас соединить, — решительно сказал он, — я знаю по опыту, как тяжело одиночество. Вы можете наказать жену даже телесно, но принять обязаны. Телесное наказание поможет ей...

— Достаточно, Николай Семенович, — расхохотался я.

— Я серьезно говорю, — продолжал Лесков, стоя у дверей. — В "Домострое" сокрыто не одно зерно истины. Нам нужно возвратиться к добрым старым нравам, иначе погибнем.

— Убирайтесь вы к черту, Николай Семенович! — резко оборвал я нашу беседу.

Он вполоборота гневно посмотрел на меня, и мы расстались.

Лесков начал против меня некоторые враждебные действия. В "Петербургской газете" он напечатал против меня две статейки. В одной он усомнился в подлинности пересказанного сообщения профессора Павлова, высланного из Петербурга в Киев за статью о ты-

сячелетии России еще в 1862 году. Престарелый профессор, бывая у меня в Киеве, рассказал мне о том, что в сороковых годах Гоголь приезжал в Киев, и профессора университета во всем своем составе явились к великому писателю, который остановился у некоего Юзефовича, а Гоголь вышел к ним в приемную и, как показалось представлявшимся, с большой нежностью поздоровался с ними. На самом деле, вероятно, Гоголь был сконфужен и не знал, что им сказать.

В другой статейке Лесков придрался к слову "перезвон" в каком-то моем рассказе: нельзя говорить "перезвон", а надо говорить "звон", и тут попутно он составил целое наставление молодым писателям, в том числе и мне, как строго надо обращаться с каждым русским словом, в особенности имеющим церковный смысл, и когда пишешь о колокольне или о церкви, хотя бы и мимоходом изображая эти здания, то предварительно надо изучить историю их построения и тому подобное.

Я, в свою очередь, отвечал на эти выходки Лескова и в статейке под названием "Зазвон-



ное клепало" развил перед ним целую эрудицию по части разных оттенков колокольного звона, почерпнув эту мудрость из какой-то брошюрки, попавшейся мне на книжном рынке. Теперь забавно вспоминать все эти мелочи, но тогда они характеризовали Лескова.

Ко мне прибежал Бибииков от Лескова с предложением, что ересиарх непрочь примириться со мной и что он сознает отчасти свою неправоту, но, в свою очередь, я тоже должен извиниться, в особенности за "черта".

Я написал Николаю Семеновичу, что извиняюсь за "черта", но что между нами едва ли может установиться какая-нибудь связь ввиду этических расхождений. Бибииков смеялся, когда прочитал мое письмо, и рассказал о том, как Лесков перед рождественскими праздниками водил его по магазинам и делал на его глазах разного рода закупки. В тот день, голодный и холодный, он обратился к Лескову с просьбой одолжить ему несколько рублей. Бибииков был человек легкомысленный, и Николай Семенович решил во что бы то ни стало воспользоваться случаем и от-

учить его от легкомыслия, преподать ему урок доброго поведения. С этой целью он в каждой лавке, отбирая товар, требовал сначала дать попробовать: ветчину, фрукты, икру, сласти, и, пробуя, жуя, он поучал Бибикова:

— Все эти товары необходимы к празднику как для того, кто покупает, так и для тех, кого он угощает или намерен угостить. Каждый порядочный человек должен к этому празднику заставить столько денег, чтобы удовлетворить свои потребности в тех размерах, какие ему нужны, принимая в соображение круг его хозяйства, а хозяйство основывается человеком для того, чтобы не нуждаться ни в чем, а чтобы ни в чем не нуждаться — нужно работать; работая же, нужно откладывать каждую копейку, запасая на черный день, и не то что на черный день, но и на светлый, на праздничный день. Например, иной молодой человек в ноябре месяце заработал, положим, пятьсот рублей и легкомысленно растратил их на женщин или на что-нибудь другое, более предосудительное; пришел праздник, у него денег ни копейки нет, и тогда он унижается и просит у более благоразумных старших

товарищей своих одолжить ему сколько-нибудь, чтобы и он похож был на человека. Но старший товарищ делает большую глупость, если поощрит его в этом, я бы сказал, грехе. Таким образом, Виктор Иванович, если я вам дам денег, то помните, что вы должны дать мне честное слово, в свою очередь, что этого не повторится никогда и что в следующие праздники вы будете обеспечены, что примете во внимание, как тяжело потом брать займы.

Бибииков, передавая мне все это с точностью, в которой нельзя было сомневаться благодаря его феноменальной памяти, воспроизводил малейшее движение и даже голос Лескова, а от меня направился к Лескову и там, может быть, тоже воспроизводил мой голос и мою манеру говорить.

С Лесковым я все же еще раз встретился у Сергея Атавы, с которым, как оказалось, он был "в большой дружбе".

Атава жил у Строганова моста на даче, на которой когда-то проводил лето Пушкин и создавал книгу о Пугачевском бунте. За чайным столом сидела семья Атавы, на столе стояла

бутылка с редким вином, и на председательском месте сидел Николай Семенович. Мы пожали друг другу руки, и тоненьким голоском Атава закричал:

— Ересиарх-то, ересиарх! Знакомы вы с этой стороной почтеннейшего Николая Семеновича?

Я промолчал, а Атава (Терпигорев) продолжал:

— Сейчас прочитал мне целую проповедь, как надо вести себя, как подобает отпрыску старого дворянского рода блюсти порядок во всем, и что для этого религия есть необходимый регулятор, а иконостас — даже великолепное украшение в столовой, и предложил мне купить у него по недорогой цене архиерейскую куртку из золотой парчи...

— Ну, что же ты врешь, Сергей, — заметил Лесков, — парчовых курток-то архиереи не носят даже.

— Сам-то Николай Семенович из архиерейской ризы сшил себе такую куртку, и знаете, для чего? Чтобы потрясти воображение издателя, когда тот приходит и просит рукопись.

— Да полно тебе болтать!

— Я же правду говорю. Ну, разве нет у тебя такой парчовой куртки?

— Есть, есть, — согласился Лесков, — но куртка эта не архиерейская, а из парчи мною сделана, которую в одной ризнице я приобрел, старинная русская парча редкой красоты.

— Видишь, сознался. А еще разве у тебя нет зуба Бориса и Глеба? Тоже феноменальная редкость.

— Нет, — вскричал Николай Семенович, смеясь, — зуба нет, но есть у меня зуб мудрости, которого нет у тебя, Сергей. И этот зуб мудрости говорит мне постоянно вот что: скажи ты своему приятелю, насмешнику Атаве, чтобы он угомонился на старости лет, поменьше пил бы вина и не издевался бы над тем, над чем издеваться грешно. Бог ему дал талант, а он его зарывает в землю.

— Пожалуй, в "Новое время" действительно зарываю.

— Будь честен и правдив, Атава, и веди себя не так, как ты себя ведешь, что тебя уподоблять начинают знаешь кому? Ноздреву.

Атаве это не понравилось:

— Добропорядочному поведению учишь, ересиарх, а ложечку облизываешь и в общую вазочку с вареньем опускаешь, так что надо переменить. Пожалуйста, Марфуша, выбрось это варенье и подай нам другую вазочку.

Такие сцены, как мне подтверждали, обыкновенно разыгрывались у Сергея Атавы, когда там появлялся Лесков. В конце концов Лесков перестал бывать на даче у Строганова моста. Он, впрочем, вскоре и умер — на шестьдесят первом году жизни. Атава поехал его хоронить.

После смерти писателя образ его возникает перед нами всегда несколько приукрашенным или в неточном виде.

Лесков был человеком огромного дарования, но причина, почему современники относились к нему большей частью недоброжелательно и, сходясь, быстро расходились с ним, лежала в нем самом — в его чванстве, в его потребности непременно всех поучать, а самому быть образцом добродетели, в его подглядывании, в склонности к слежке, к вмешательству в интимную жизнь каждого, кто соприкасался с ним.

— А если бы твою жизнь всю перетряхнуть, — сказал ему однажды Атава, — да проверить, правда ли о тебе рассказывает Суворин, как ты щипал гусиным щипом свою жену на даче у Евгении Тур; потом бедная женщина не могла открыть плечей, потому что они были черные!

— Полно, — негодовал Лесков, — мало ли какие обо мне глупости рассказывает Суворин, я бы мог о нем еще больше наговорить.

— Ну, уж все-таки Суворин до этого не доходил, до чего ты доходил. А как ты истязал своего сына Андрея... а как...

— Не хочу слышать, не хочу, не хочу! — заявлял Лесков, надевая шапку, и убежал.

Похоронив же Лескова, Атава устроил ему у себя поминки. Приехал Шубинский, редактор "Исторического вестника", Пыляев, знаток Петроградской стороны и любитель литературы и драгоценных камней, и меня пригласили.

Как-никак, а большой и глубокий след оставил в русской литературе этот гордый, надменный, оклеветанный и одинокий писатель. Есть страницы в его произведениях, ко-

торые потрясают и полны тем настроением, какое порождают грозные вечера. Его "Очарованный странник" — нечто из ряда вон выходящее по силе изобразительности. Когда-то в киевский Владимирский собор, где работали художники во главе с Виктором Васнецовым, я принес книжечку с "Очарованным странником", и на два дня прекратились все работы. Жадно схватилась художественная братия за книгу и не могла оторваться от нее. Приехал митрополит Флавиан взглянуть, как идут работы, а ему объяснили, почему они приостановились. Он покачал головой, взял книжечку с собою, и потом Прахов рассказывал, что и он два дня не мог оторваться.

Во многих своих рассказах Лесков был фантастичен и мистичен, но когда хорошенько взглядишь в его картины, то приходишь к заключению, что они в высшей степени реальные и только благодаря его искусству они кажутся сказкой, и самый простой случай, как, например, зарез мясником теленка, приобретает под пером Лескова характер какого-то потустороннего происшествия, отчего становится жутко.



На поминках восхвалялись между прочим последние произведения Лескова, навеянные религиозным поворотом в творчестве Толстого (уж не помню всех прологов, переделанных им в рассказы); едва ли, однако, они могут быть интересны в наше время, зато такие вещи, как "Запечатленный ангел" или "Очарованный странник" навсегда останутся классическими сочинениями, и Лесков превосходит тут своим талантом не только Мельникова-Печерского, но иногда его смело можно поставить плечом к плечу и с Достоевским.